

Коновалов — текст 1 из 2

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Муроме Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

— Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими, толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

— Губитель! Разоритель! Хриstopродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

— Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать, — было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил; хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

— Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

— Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

— В поход собирайся! — ликовал хозяин.

— Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

— Куда хочешь...

— Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

— А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

— Ну, это ты врешь!.. — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

— Иди-ка, иди...

— Идти?

— Проваливай.

— Нароботался, значит... — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук!

— Я паук? — вскипел хозяин.

— Ты! кровососец паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

— Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, — не возьмут! Нигде не возьмут...

— Нового наняли? — спросил я.

— Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

— И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Лёса?

— Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

— Проходи, Сашок, вот тебе подручный, — говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

— Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак.

— Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай, пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребяташки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

— Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

— Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

— Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, — не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное, бледное лицо и думал: «Что это за

человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

— Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

— Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай, — и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! — читал я. — Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке. Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

— А писать ты умеешь?

— Могу...

— А чернила у тебя есть?

— Есть.

— Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши!

— Изволь. Она кто?..

— Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

— Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр».

— Гм... — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

— Да зачем это?

— А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

— Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, — мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

— Капитолина? Девочка она, — совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я — смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю; «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу — погоди!» И все у меня было готово, деньги и все... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

— Что же ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней?

— Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, — может, человеком будет.

— Она с тобой хочет жить...

— Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

— Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я.

— А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет; и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Он спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то — на даче когда жили, — бывало, поедem с ней кататься, — во весь дух она любила.

Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое — женщина как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее — тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай, говорит, Саша». И — чудная — обнажила мне руку по локоть, да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти, — недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам — два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

— Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня

голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

— Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

— Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду, — так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают — видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая грудa углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них — большая — блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, — едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

— Ты простой парень! Хорошо это! — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь серые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, — я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев — пышных, румяных и высоких — не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой, хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

— Эх, какого красавца мы с тобой сработали...

И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, — как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

— Саша, говорят, ты поешь хорошо?

— Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И, ежели петь начну, — затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, — штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, мяся тесто и катая хлебы. Коновалов

слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

— Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

— Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

— Почитай вслух, а?.. — попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами — у меня до сей поры они в памяти — широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных, белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец я устал и закрыл книгу.

— Все уж? — шепотом спросил меня Коновалов.

— Меньше половины...

— Всю вслух прочитаешь?

— Изволь.

— Эх! — Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то щурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

— Как ты это читаешь! — шепотом заговорил он. — На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь — читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмутив брови, изредка кротно бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одервенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

— Хорошо? — спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

— Кто же это сочинил? — В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

— Ну — человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет — вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

— То есть как?

— Ну, например, дали ему награду или что там?

— А за что ему нужно дать награду? — спросил я.

— Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

— И — что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

— Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но — увы! — она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

— Так ему, значит, ничего и не дали? — спросил он.

— Кому? — осведомился я, позабыв о Решетникове.

— Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

— Как все это премудро, господи! — вполголоса заговорил он. — Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные — вот и все. Написал и... умер он?

— Умер, — сказал я.

— Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди — Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем — ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

— Порядки, — вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки — единственной утехи их многотрудной жизни.

— Да разве такие люди пьют? — шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. — Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

— Конечно, после, — решил Коновалов. — Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И волюют тоску в книги... Это уж не помогает, потому — сердце тронут, из него тоски огнем не выжжешь... Остается — водкой ее заливать. Ну, и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

— Ну, и по всей правде, — продолжал он развивать психологию сочинителей, — следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, — что такое? Босьяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, — понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки — и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть — это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

— Ну, и что же дальше? — допытывался я.

— Дальше?... Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, — мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях — жертвах жизни и о людях — владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он — печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

— Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

— Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Все из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина — очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих бедах, а ты — всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком — потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

— Погоди, — сказал я, — ты согласен со мною? Верно я говорил?

— Тебе лучше знать, верно или нет, — ты грамотный... Оно, пожалуй, — ежели взять других, — так верно... А вот ежели я...

— То что?

— Ну, я — особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит — во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я — много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он — этот большой человек с ясными глазами ребенка — с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничтожением, до той поры еще не виданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного

скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости, — они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

— Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка, — хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полужверей, наполняющих грязные трущобы городов, — из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно — особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили все жарче.

— Да погоди, — кричал я, — как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

— Упрись крепче! — возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами.

— Да во что упереться?

— Найди свою точку и упрись!

— А ты чего же не упирался?

— Вот я те и говорю, чудака-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую — не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

— Что, у тебя есть книжка? — спросил Коновалов.

— Есть...

— Почитаешь мне?

— Ладно...

— Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину — тебе!

— На что?

— Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи — хоть две. Мне — которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные — чепуха совсем! Панфилка и Филатка — даже с картинкой на первом месте — дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть такие, вот как у тебя.

— Хочешь про Стеньку Разина?

— Про Стеньку? Хорошо?

— Очень хорошо...

— Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

— А почему тут разговоров нет? — спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил — почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

— Читай — ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, — он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, — теперь потемневшим и суженным, — исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

— Читай, — тихо, но внушительно сказал он.

— Ты что?

— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня — какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

— Поймали! — крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе.

У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

— Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорее, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка — родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

— Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидел это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул на пол...»

— Будет!.. К черту!— крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

— Максим! — говорил Коновалов, сидя на полу. — Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей пред нами мучительной и жестокой картины пыток.

— Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? — уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. — А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

— Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

— Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он — экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

— Пила и Сысойка — это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда Пила с Сысойкой — взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

— Ах, шельма клейменная, — ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? — это, брат, другое дело. А Пугач — гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек?

Поищи... А этого телячьего Макара брось — незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, все лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, — стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» — печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити — это была правда, и встречались нити ярких цветов — ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас — я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот, — выслушав такую историю, всегда

носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

— Не веришь, Лёса? — восклицал рассказчик.

— Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь — врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

— Верно, — соглашается рассказчик. — А все-таки ты это к чему головой качал?

— К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шаблоны делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, — значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

— Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, — говорят Коновалову.

— А кто должен строить жизнь? — победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: — Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора — это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред ними, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой — они какие-то слабые, хлибкие и решительно неспособные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

— Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

— Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы...

Как всё, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело,

именами ее героев, и когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

— Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

— Извините...

— Кого нужно? — спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

— Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову — в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых, красных губ.

— Здесь! — ответил я ей.

— Здесь, здесь! — вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к госте.

— Сашенька! — глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

— Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! — торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

— Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

— А я прямо сюда, к тебе...

— Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра, но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чаянии видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

— Что ты? — спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

— Ничего... — уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

— Нет, все-таки?.. — настаивал я.

— Да что тебе? — устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. — Все-таки... все-таки... Все-таки — баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он дал мне его такими приблизительно словами:

— Говорю — баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется — значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу — почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня — запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» — и прочее такое, очень многое... А она: «Запой — наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю — жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт!..» И почала, и почала... просто

так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

— Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? — спросил я.

— Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрызает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решился. Какие резоны были! Мог бы и с приданным и... все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

— Максим! — просительно и сконфуженно заговорил он, — пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

— Что же я ей скажу?

— Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

— Да ведь это неправда? — засмеялся я.

— Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, черт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно — ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

— И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

— Нет, меня на такого червя не поймает, я рыба крупная! — хвастливо воскликнул он. — Я вот как возьму, да... а что, в самом деле? — И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

— Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

— Ну, это уж ты ерундишь! — несколько смущенно сказал я ему.

— Да что ж мне делать? — воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать.

И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.

Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

— Не попала! — визгливо кричали в него. — Плохо метила. А уж бы...

— П'дём! — рычал зверский бас. — П'дём, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

— Это она! — тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

— Да п'дём! — лопотал бас.

— Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай... — следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидел Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Белецкий платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, все рычал:

— П'дём-ем!..

— Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеялась я... насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

— Я не спрятался... — подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. — Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел: добро будет — думал, а ты понесла совсем несообразное...

— Сашка! Можешь ты меня убить?

— Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

— Сашка! Саша! Утопи меня!

— Бу-удет! П'дём-ем!

— Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

— Что за шум, а? Кто такие?

Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

— Зачем я в тебя, черт, поверила... — рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

— Не хочу в полицию! Са-аша! — тоскливо вопила девушка. По мостовой тяжело затопали ноги.

Свистки, глухое рычание, вопли...

— Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Все это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспомнил отдельные звуки и с трудом верил, что все это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

— Все!.. — как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

— Как она меня!.. — с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. — В полицию попала... пьяная... с каким-то чертом. Скоро как порешила! — Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

— Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он все это не понимал, не знал и — кругом во всем виноват. Я был обозлен им — стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дём!..» — все это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

— Вот так раз! — восклицал он. — Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

— И зачем я ее тронул с того места! — каялся Коновалов. — Эхма! Ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

— Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я — скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни.

Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру — хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

— Что же, ты видел ее? — спросил я.

— Затем и ходил.

— Ну так что же?

— Ничего.

Было ясно — он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживая по пекарне с понуренной головой и все с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

— Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

— Вот и порешили с человеком, — медленно заговорил Коновалов. — А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренность... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смиренная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призора за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе — путаница. И никто никого не может понимать.

— Ну так как же ты с Капитолиной-то? — спросил я.

— А? —встрепенулся он. — С Капкой? Шабаш... — Он решительно махнул рукой.

— Кончил, значит?

— Я? Нет... она сама кончила.

— Как?

— Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Все по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трескали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы — не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу, Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, переворачивает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

— А я думал, ты спишь... — смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: — Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые — ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который вначале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. — Он перевел дух и продолжал просительно: — Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

— Максим!..

— А?

— Как меня Капитолина-то раскрашивала!

— Да ладно уж... Будет тебе...

— Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправе она?

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

— Вот и я тоже так полагаю... Вправе... — уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

— Ты где был?

— Ходил Капку посмотреть.

— Ну и что?

— Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

— Ничего, видно, не поделаешь с этим народом... — попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

— Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать — кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

— Это чепуха!..

— Нет, верно!.. — убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

— Саша, ты что? — спросил я его.

— Запой начинается, — объяснил он. — Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну — ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро — и вдруг... совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этакий закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?... Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

— Ну тебя... Слышал я это... Тут не в жизни дела, а в человеке. Первое дело — человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там все это переделается, человек все-таки должен оставаться, как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле, — вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

— Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

— Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать...

— А может, оправится?!

— Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» — кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее

наполняли завсегдатаи — темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

— Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежда... Дня на три хватит всего. Все пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

— Город сквернейший, — сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

— Работа? — вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: — Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право все пропить и даже возводя это право на степень неременной обязанности — именно с ними пропить.

— А, Максим... и котомка с ним! — скаламбурил Коновалов, увидав меня. — Ну-ка, книжник и фарисей, — тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся — кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась — его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

— Брось, Саша, уйдем отсюда, — сказал я, положив ему руку на плечо.

— Бросить?.. — Он засмеялся. — Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это, — может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне делать? Ведь я чувствую, все чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую — и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей!

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова — угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

— Братцы! Это мой товарищ, — ученый, черт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то — это я? Максим!.. И Сысойка — я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

— Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего неизвестно... Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином — получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-ходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он — меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал, — было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму, — все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

— Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? — прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. — Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах, и тошно мне, тошно мне... то-о-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

— Пей, ребята! — крикнул Коновалов. — Пей! Отводи душу — дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренне, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево свай, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

— Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая, пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение — и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, — большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь — цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить, — стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они — тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, — то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, — так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремьями ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидających каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную, ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли.

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но — с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босяки сразу выделялись — и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи — из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы — сравнительно с работой на тачках и с киркой — более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

— Дерни!

Веревку лениво дергали.

— Сто-ой!.. Ище дерни. Сто-ой! П'шел!..

Запевала — давно небритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой — повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

— Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

— Поше-ол! — неистово заорал сверху копра нарядчик. — Заржали!..

— Митрич, — лопнешь!.. — предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую, широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это — Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

— О-о-ух! о-о-ох! — могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх все на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал все слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи — все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубашками и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

— Шабаш! — крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

— Земляк! — обратился я к облюбованному малому.

Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

— Коновалов!

— Постой... — он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

— Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь?

Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже — солдат, по роже — студент. Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... все!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

— А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула — местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну — бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили — контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» — «Надо быть, ты, коли признаешь». — «Должно, я, говорит; ты, говорит, не сердись — служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили — брюхо подпорол. Ничего не поделаешь: жизнь — игра серьезная». Ну, мы и подружались с ним. Хороший солдатик — Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался — возится со мной, как с дитей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю — нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и

поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо — ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну я бы дикого утопил — на кой черт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

— Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

— А — выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки и будет. Денег у меня есть рубля три, да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительствова. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет — лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдаль. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русских кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно-уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительствова». На самом деле «дыра» была весьма удобна — в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы

глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам череп.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пілтавы», — задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширм, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели: справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — море, пред нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

— Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

— Каждый раз, как я бываю у моря, я все думаю — чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно — ласковое такое... Хорошие думы от него в душе у человека. А ну, Расскажи, как ты сам жил в эти годы?

Я стал рассказывать ему. Море вдали уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, — убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. — И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги — чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь

со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны — это всего лучше. Идешь и все видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть — пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы — попроси хлеба, дадут. Так — хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхоличный звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

— Костер бы... — сказал он, покашливая.

— Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось все тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбацких лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

— Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она, жизнь, вот как мы...

— Ого, — потрянул головой хохол, — коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь... — Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

— Н-да, — смутился тот, — зима — треклятое время. Для зимы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?.. Я — вот про что! Оно, конечно, ежели

подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля все тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Все та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

— Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и все там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

— А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? — равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

— Нет, скажи ты мне... — спрашивал Коновалов, — почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее?.. И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?

— Вот скулит человек, — удивился хохол. — Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

— Верно... — грустно согласился Коновалов.

— Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, — с чувством собственного достоинства произнес стойк, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас все было глухо, завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам, — так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

— А поляжемте спать, — предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов, как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол

неустанно возился и все стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!»

...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...